

АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН

## КРЕСТЬЯНЕ И ДВОРЯНЕ

*Когда говорят “русский народ”, я всегда думаю “русский крестьянин”. Да и как же иначе думать, если мужик всегда составлял 80% российского народонаселения! Я, право, не знаю, кто он, богоносец ли — по Достоевскому, или свинья — по Горькому. Я знаю только, что я ему бесконечно много должен: ел его хлеб, писал и думал на его чудесном языке, и за всё это не дал ему ни соринки. Сказал бы, что люблю его, но какая же это любовь без всякой надежды на взаимность?..*

Александр Куприн

*Юрию Байбородину посвящаю*

### Пролог

Испокон православного русского века род в некоем колене являл молитвенника, Богом отсуленного: церковного иерея, смиренного инока — насельника святой обители, христорадного юрода, блаженного пророка, а ино и святителя, страстотерпца, праведника, кои в дольном и горнем свете замаливали грехи своей земной родовой, чая спасения и воскрешения из мёртвых, когда в ослепительном сиянии, в громе и молнии явится Творец на Страшное Судище судить живых и мёртвых.

Неизбежно рождался в некоем колене и выразитель рода, а по дару Божию, и — русского народа: вещий боян-былинщик, изустный и письменный сказитель, художник, вместивший в душу судьбу и горную мудрость родовой и по силе искусного дарования их запечатлевший. Вот и я сподобился в очерках, повестях и сказах, сплетая былицы с небылицами, любовно изукрашивая, запечатлеть род в материнских и отеческих ветвях, но, увы, лишь бегло ведомых да живые зримых. А ныне худо-бедно дошёл до ума очерк о родове, давнишний, с летами выросший до очеркового повествования и — не столь о роде, сколь о народе, его исторической судьбе, его сословной брани и любви.

## Ветлужский князь Никита Байборodin

Словно царственный листвень, подточенный инославными и доморощенными короедями, со вселенским гулом рухнула великодержавная рабоче-крестьянская власть, и в российской “образованщине”, наемни бранящей самодержавие, пенисто взыграла монархическая кровь; ошалело кинулись сыны рабочих и крестьян откапывать родовые и сословные деревья, жадно нашаривая в толще веков дворянские корни. И редкие уже, как при Советах, гордились крестьянскими, а уж тем паче — рабочими корнями.

Лишь народные писатели, подобные Распутину, Белову, остались верны сельскому роду-племени, словно свыше им было велено лелеять и оберегать в душе родовую память. Для того и явлены в русский мир, для того и отсулен дар сказовый, чтобы запечатлеть на века народную жизнь в её мучительных раздумьях, неизреченных горестях, отчаянных падениях и величавых духовных и душевных взлётах. Посреди российского окаянства, словно оттепель в крещенскую стужу, — родовые хроники народных писателей, в коих не зарисовано подлинно и кропотливо фамильное древо, но с сыновней и отеческой любовью, песенно и живописно запечатлелась жизнь рода — суть народа, — в святости и немочи, в радости и горе.

Но вокруг народных писателей — властвующее и воинствующее безродство и беспамяństwo, и глас писательский — глас вопиющего в пустыне, и не может пробиться к народу. Хотя даже суровые натуралисты, не ведающие национально-родовой гордости, не вздымающие к высокому русскому небу понурой головы, отяжелённой “безумной” дольней мудростью, и те многодумно глаголили: лишь дурак учится на своих ошибках, мудрый — на чужих, а чаще — на отцовских и дедовских. И для сего потребна память родовая. Народоведы Афанасьев и Буслаев, любовно и вдумчиво постигавшие русскую семью, настойчиво твердили: “Мудрость предков помогает избежать многих ошибок, так свойственных молодым... Отцовское проклятье иссушит, а материнское искоренит...”

Без родовой мудрости земной и небесный путь потомков — в чёрной безлунной и беззвёздной ночи широкая и гладкая дорога, ведущая “...во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов” (Мф. 8:12). Жива и поучительна древняя легенда, бродячий сюжет которой, возможно, бытовал и в славянских племенах. Согласно легенде, степное скотоводческое племя, пережив великую засуху и мор, надумало кочевать в далёкие, щедрые земли. Велел молодой вождь, жестокий варвар, обогреть жертвенной кровью дорожный посох, истребить стариков и старух, кои обуза в долгом и трудном кочевье. Так и поступили язычники и тронулись в путь... Трижды городились поперёк неизвестного пути гибельные препятствия, и никто из молодых соплеменников не мог дать вождю спасительного совета, и лишь юный кочевник трижды выручал племя. И тогда вождь спросил юношу: “Неужели ты мудрее всех в племени, хотя и молод летами?” Пал юноша в ноги вождя и покаялся, что не сгубил отца, и отче мудрыми советами трижды спас племя. Крепко задумался молодой вождь...

Но речено Иисусом Христом: “Аз пошлю к вам пророки и премудры и книжники: и вы иных убьете и распнете, и иных бьете на сонмищах ваших, и изженете из града в град” (Мф. 23:34). Словом... Нет пророка в родном Отечестве, и вчерашние пастухи и скотники, забыв деревенскую родовую, махнув рукой на мать и отца, отгордились крестьянскими корнями и прямо из коровьих стоек и прелых сеновалов, с избяных завалинок полезли в белоперчатное барское сословие.

Переживший романтизацию Красной армии, на исходе двадцатого столетия налюбования я на белогвардейскую и дворянскую романтику, здоровался за ручку с новоявленным князем N., ярым дворянским монархистом. Ложат ли у того под сукном родовые княжеские бумаги, не вем, но, бывало, увижу князя, убелённого ранней благородной сединой, церемонно, с чистопородным псом гуляющего по ангарской набережной, — увижу барина, и мужичьи ноги мои подгибаются, впору пасть на колени и возопить: “Ваше благородие, не велите казнить, велите слово молвить!...”

Смеха ради говорено: предки мои по отеческому кореню, богатые скотоводы, скотогоны, справлявшие ямщину по бескрайнему Забайкалью, не отдававшие крепостного права, аще и кланялись, рабы Божии, то лишь пред

ликами Царя Небесного и Пречистой Его Матери, пред образами святых угодников и чудотворцев, страстотерпцев и преподобных, богоносных отцов наших. Кланялись святости да гнули выи, видя попа либо государева чиновника, а дворян, коих по Сибири мало водилось, могли и осадить сибирским словом, ежели те кичились сословной породой.

Помню, в разгар фермерской суеты и маеты некий знакомец вдруг вспомнил, что он из крупнопоместных столбовых дворян, и купил за большие деньги... по слухам, наследственные, из-за бугра... землю под барскую усадьбу. И помню, я да приятель-писатель, тоже из крестьян, собравшись за дачным чаем, спорили с новоиспечённым помещиком о русских сословиях, понося дворян, лубочно вознося крестьян. Помещик хвалился: “Дворянство породило классическое искусство, науку, явило Отечеству великих полководцев и вельмож, а крестьянство — дурь и пьянство”. Мы, крестьяне, возопили, горестно всплескивая руками: мол, а двухтысячелетнее, необозримое и сверхгигантское поэтическое творчество крестьян, которому “классическое” в подмётки не годится?! Спорили до драки — чудом не вспыхнула гражданская война! — спорили до хрипоты, не внимая друг другу и не понимая, словно ревели на разных языках. И помнится, барин грозился: “Коль мы, дворяне, вновь ухватим российскую власть, то вашего брата, мужика, будем пороть нещадно, дабы не лез со свиным рылом в калашный ряд. Знай сверчок свой шесток! Три шкуры спустим. Иначе от вас, мужиков, добра не видать”.

Развернулись мы с приятелем-писателем и хлопнули дверью.

А завершилась фермерская эпопея столбового дворянина катастрофой: прогорел дотла барин, и даже получил прозвище Катастрофа, но виновным, опять же, вышел нынешний хмельной и завистливый мужик, коего, увы, не удалось высечь.

А тут еще среди моих журналистских приятелей является и финский барон Павел Хемпетти, с которым в молодые лета изрядно попили мы крепкого чайку с хлебцем. Если Паша — барон, отчего и мне не прослыть князем?..

Вот и я, деревенский катанок, выходец из забайкальских скотоводов и скотогонов, смеха ради потряс фамильное древо: вдруг свершится чудо, падёт на голову сладкий плод, и я, смерд, угожу в бояре або графья.

Взял библиотечную пыль до потолка и в словаре по ономастике академика Веселовского вызнал-таки, откуда есть пошла и что значит фамилия моя — **БАЙБОРОДИН**: “Байборода. Байбородины: Авсентий Байборода — 1406 год, Псков. Борис Байбородин, крестьянин, — 1624 год, Нижний Новгород. Байборить — болтать, пустословить. Байбора — болтун, пустомель (В. Даль). Байбора — шаль, бесценнок, дешевизна. Купить за байбору”<sup>\*</sup>.

Не шибко глянулось: у приятелей в древе графья да князья, а у меня только и родни — мужики одни, да к сему и пустомели... Словно крот, зарылся я глубже в родовую ниву и выкопал... Мой забайкальский земляк из старовееров-семейских, доктор исторических наук Фирс Федосович Болонев прислал архивную выписку: “Город ли Кидиш, что во дни стародавние от *погани рати*” спасён был Ильёй Муромцем, славный ли город Покидыш, куда ездил богатый Суroveň-Суздавец гостить-пировать у ласково князя Михаила Ефиментьевича, не отсюда ли ветлужский князь Никита Байбородин чинил набеги на земли московские, пробираясь лесами до Соли Галицкой...”

Ого!.. Выяснил: князь Никита Байбородин — князь не былинный, и записи о нём были в 1350–1373 годах. Почитал о варначьих набегах лихого предка, смутился, но и тут же почуял себя князем, ибо, как река вытекает из таёжной бочажины, так и в истоке фамилии един род, пустивший бесчисленные, потерявшие родство ветви. Словом, азъ есмь князь, и моя корявая деревенская обличка обрела дворянскую статью и важность, осталось лишь завести псарню, бухарский халат, трубку с длинным чубуком, дуэльные пистолеты, а к пистолетам — даму сердца, бледную графиню, чтобы стреляться с её обветшавшим графином... Ох, “как упоительны в России вечера”: укутался в соболью доху и погнал извозчика в барский притон, где шампанское — пенистой рекой, где цыганы любодейно звенят на гитарах, где цыганки, сверкая адскими очами, сладострастно трясут плечами... Не жизнь — малина... .

А тут ещё нежданно-негаданно в архивных бумагах появляется и другой мой родич — опять же Никита Байбородин, но уже боярский сын, воевода Ир-

<sup>\*</sup> “Ономастика” под редакцией С. Б. Веселовского. М., Наука. 1969.

кутский (архив Академии наук СССР и ЦГИА СССР из фонда Герарда Фридриха Мюллера). В архивах семнадцатого-восемнадцатого веков – “Списки Сеуленинской и Нерчинской комиссий” – хранятся прошения и челобитные тунгусских (по иным историческим сведениям – даурских) князей Гантимуровых, перешедших в русское подданство при царе Фёдоре Иоанновиче. Одна из челобитных как раз и обращена к иркутскому воеводе, сыну боярскому Никите Байбородину, чтобы его, Алексей Гантимурова, вместо умершего отца Лариона оставили в том ранге, в коем был отец. Тунгусский князь просит “приверстать ево по Нерчинску в дворяне и привести ево Гантимурова к присяге и учинить бы ему оклад денег 40 рублей, хлеба 40 четвертей, овса тоже, вина 20 вёдер”. Боярским сыном Никитой Байбородиным “1728 года марта 12 дня сын Гантимуров к присяге приведён в Иркутске и подушная запись взята”.

На боярских радостях, не ведая, что боярский сын – суть холоп боярский, прикинул я хвост к носу: а не заглянуть ли к губернатору да и к владыке на чай, не испросить ли согласно благородного рода хлеба, овса и дюжину вёдер вина, да и портфель... не парусиновый – кожаный, а к портфелю жалование, – чай, не серая кость, сын боярский, потомок воеводы Иркутского.

Впрочем, мелю, Емеля, потехи ради, поскольку нету на руках бумаг, где чёрным по белому, с гербовым клеймом намертво начертано: ветлужский князь Никита Байбородин и боярский сын Никита Байбородин мои пра-пра-пра...; а на нет – и суда нет, без бумажки ты букашка, а уж тем паче, не князь и не боярский сын. Паши и перепаживай архивные залежи, а всё одно: отеческая и материнская родова моя, к скорби, изведенная лишь до дедова колена, – воспетые мною в повестях и бывальщинах забайкальские мужики и бабы, коих и за сладкие калачи не променяю на дворян. Мой умудрённый деревенский родич так молвил: “Оно и слава Богу, что не угодили в роду графья да князя: дворяны – смутьяны... Кичился по-французски дворянин, пока не дал ему по шее крестьянин...” “Вольнолюбивое” русское дворянство в XIX веке ослабло в православно-самодержавном духе, заразилось западноевропейским безбожием и либерализмом, засеяв в русскую землю семья грядущей кровавой смуты. Но... за что боролись, на то и напоролись: в начале XX века дворяне, подобно шаткому духовенству, кровью смыли грехи перед родным народом и всяк перед своим родом.

### Колхозник граф Толстой

Смешны и грешны те, кто кичится породистым, немужицким происхождением; а праведней бы скорбеть, что не уродился мужиком. Да, русские дворяне жили жизнью, чуждой крестьянству, возвращенному в православном домострое; дворянская жизнь казалась мужикам порочной, но избранные дворяне чтили крестьянство, и великие дворянские писатели – Пушкин, Гоголь, Лесков, Толстой, Достоевский – постигали и воспевали крестьянский мир, а граф Толстой и вовсе мечтал окрестяться.

Максим Горький, навещавший Льва Николаевича в Ясной Поляне и натуралистично запечатлевший их встречи, писал: “Гуляли в Юсуповском парке. Он великолепно рассказывал о нравах московской аристократии. Большая русская баба работала на клумбе, согнувшись под прямым углом, обнажив слоновьи ноги, потягивая десятифунтовыми грудями. Он внимательно посмотрел на неё. “Вот такими кариатидами и поддерживалось всё это великолеpie и сумасбродство. Не только работой мужиков и баб, не только оброком, а в чистом смысле кровью народа. Если бы дворянство время от времени не спаривалось с такими вот лошадьми, оно уже давно бы вымерло. Так тратить силы, как тратила их молодёжь моего времени, нельзя безнаказанно. Но, перебившись, многие женились на дворовых девках и давали хороший приплод. Так что и тут спасала мужицкая сила. Она везде на месте. И нужно, чтобы всегда половина рода тратила свою силу на себя, а другая половина растворялась в густой деревенской крови и её тоже немного растворяла. Это полезно”.

Помнится, на исходе прошлого века в граде Иркутском полыхало осеннее “Сияние России”, – традиционные “Дни русской духовности и культуры”; и по приглашению писателя Валентина Распутина в губернской столице гостил Владимир Толстой – прямой потомок великого писателя.

Когда мы беседовали с графом Толстым, моё бедное воображение — из мужиков же! — явило мне убогую киношную картину родового поместья: в тени вековых дубов и вязов — дом с мезонином, белыми колоннами и лепными амурами; у парадного крыльца стража — два беломраморных льва, а далее — цветочная оранжерея, где дворник подрезает розы, плетёная беседка, увитая плющом, таинственный пруд с горбатым мостиком и белыми цветами-купувами на зеленоватой водной глади и тёмные аллеи, присыпанные красным зернистым песком; а в доме — вечернее чаепитие, и камердинеры, наряженные пуше генералов, в париках и белых чулках, церемонно подают чай; бледная графиня музицирует, старый граф дремлет в креслах... За чайным столом, вообразилось, красуется и граф Владимир Ильич... В пору далёкого иркутского гостевания, молодой, с не увядшим отроческим румянцем, Владимир Ильич Толстой, праправнук Льва Николаевича, имел явные признаки благородного происхождения, как живописали дворяне в сентиментальных романах; порода, кою не утаишь и под ветхим рубищем, светилась в тонких очертаниях рта, носа и ясного, высокого, с ранними залысинами лба, и даже в плавном и чётком московском говоре, в книжно выстроенной речи; но, перво-наперво, мягкое, мудро-снисходительное, обходительное поведение с ближними, присущее истинно благородным натурам, из какого бы сословия они не вышли.

Владимира Ильича пригласили для беседы школьники городской гимназии, а я сподобился сопровождать и представлять потомка великого писателя. По-черепашьи ползли мы на крохотном автобусишке по улице Большой (язык не поворачивается назвать её улицей Карла Маркса), и я переживал: явятся ли школяры на творческую встречу? Не разбегутся ли после школьного звонка? Ибо случилось, приходили московские писатели в библиотеку, а там — шаром покати.

После встречи сподобился я толковать с Владимиром Ильичом о родовой памяти, сословной породе и дворянской спеси.

— Владимир Ильич, Ваш знаменитый предок, судя по дневникам и письмам, тяготился графским происхождением, барским положением, когда на барина пашут в поте лица крестьяне. Тяготясь барством, в коем писатель видел иждивенчество, Лев Николаевич призывал к аскетизму, опрощению, омужичиванию, и своеручно пахал землю, сеял хлебушек, учил деревенских ребят. Словом, графским происхождением сроду не кичился. В отличие, скажем, от Ивана Бунина, обнищавшего дворянина, смахивающего на разночинца, что носился с благородным происхождением, яко с писаной торбой. Думаю, и Вы, Владимир Ильич, не кичитесь графским происхождением?

— Какая может быть кичливость, — отмахнулся Владимир Ильич, — если я родился и вырос в рабоче-крестьянском государстве, если я жил романтическими идеалами той эпохи. Пел на пионерских сборах: “Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих...” И комсомол не миновал, и даже сотрудничал с комсомольским изданием в качестве журналиста. Но, не скрою, про себя всё же горжусь старинным графским родом. В конце концов, породистая собака, — скажем, гончая чистых кровей, — она всегда гончая. И ценность её благородной породы не в том лишь, что она чистокровная, а в том, что в силу этого она прекрасная охотничья собака. А посему истинный русский дворянин — это не просто порода, это не завсегда дворянских собраний и помещичьих балов, это не скачущий, модный денди, убегающий от скуки за границу; нет, истинный русский дворянин — это, перво-наперво, добрый и мудрый посредник меж государевой властью и простолюдином, как раз и отстаивающий интересы своих крестьян перед государевой властью, перед чиновниками. За это крестьяне его и содержали. Так в идеале задумывалось дворянское сословие.

Соглашаясь с графом Толстым о сословном замысле средневековой русской монархии, для подтверждения привожу мысль, вычитанную у владыки Иоанна (Снычева), митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского: “Русское сословное деление, например, имело в своём основании мысль об особенном служении каждого сословия. Сословные обязанности мыслились как религиозные, а сами сословия — как разные формы общего для всех христианского дела: спасения души. И царь Иоанн IV все силы отдал тому, чтобы “настроить” этот сословный организм Руси, как настраивают музыкальный инструмент, по камертону православного вероучения. Орудием, послужив-

шим для этой нелегкой работы, стала опричнина”. Из опричнины и рождалось служивое дворянство...

– Крепкие, ещё не развращённые дворяне, – продолжал Владимир Ильич, – похожие на описанных Львом Толстым Болконских, Пьера Безухова, Наташу Ростову, – глубоко русские по духу люди, в какой-то мере даже и романтики, почитающие за честь сложить голову за веру, царя и Отечество, любящие родной народ, мечтающие ему послужить. А коль были глубоко образованы, то и несли народу просвещение...

Отвлекаясь от монолога Владимира Ильича, вспомнил о демонизации дворянства в советской историографии и художественной литературе, что, возможно, отразилось и на моём разумении, хотя, ныне понимаю, светлые сыны дворянского сословия с отрочества мечтали о великом и жертвенном служении родному русскому народу. Свидетельством тому запись Льва Толстого в юношеском дневнике: “Если пройдёт три дня, во время которых я ничего не сделаю для пользы людей, я убью себя...” Но прежде чем содейть нечто полезное для людей, нужно знать, что именно им полезно, что вредно, человекоугодно, а не богоугодно, но сам порыв молодого графа прекрасен. И всю грядущую творческую жизнь Лев Николаевич посвятил служению народу, преклоняясь перед простолюдьем, кое о ту пору имело крестьянское сословное происхождение, и ярко, с сыновьей любовью, восхищённо и со-страдательно воспевая простолудье в художественных своих произведениях.

Лишь на творческом закате писатель отходит от народно-православного миропонимания, ибо, увы, у великих – великие заблуждения. Исполинское книжное знание, глубинное постижение мировых мистических учений и дольней (земной) мудрости, что безумие для мудрости горней (божественной), смутили в душе по-детски ясный, светлый христианский дух, породили сомнения в истинности Святого Писания и Священного Предания, породили крайне неприязненное, даже брезгливое отношение к Русской Православной Церкви, что выразилось в нашумевших статьях. По суждениям снисходительного и незлопамятного духовенства, великий гений разбился о скалу великой гордыни; а Василий Розанов, отмечая высочайший христианский дух художественных произведений Толстого, скорбел: де, напрасно Лев Николаевич из художников сломя голову кинулся в проповедники, в нравственные учителя. Впрочем, в толстовском обличении духовенства таилась и доля правды: грехопадение русского народа, в том числе и духовенства, породившего еретическое обновленчество, оказалось столь велико, что породило братоубийство, – кару Господню. Писал же Иван Ильин: **“Революция есть духовная, а может быть и прямо душевная болезнь”**. Но о неприязненных отношениях Толстого и русского духовенства подробно в ином очерке; а ныне я вопрошаю Владимира Ильича:

– И как Вы и все ныне здравствующие Толстые к тому относитесь, что Ваш великий предок и по сей день отлучён от Церкви?

– Мы все молимся за него, за спасение его души. Вероятно, в последние дни своей жизни он и шёл в Оптину пустынь к старцам для покаяния. Господь ему простит...

– Конечно, вам, близким его родичам, нелегко об этом говорить... Вообще, писатели той поры очень своеобразно относились к Толстому – в том числе и сословно – и своим отношением чаще всего выражали не столь Льва Николаевича, сколь дух свой. Достоевский, признавая писательский гений Толстого, не воспринимал его “духовного учительства”, Горький – талантливый певец бичей, романтических бродяг и путаных разночинцев – в очерке о Толстом с едкой иронией развенчивал нравственное учение писателя: после моральных назиданий, поучений, гуляя в саду, старец якобы засмотрелся на дворовую бабу, подоткнувшую подол. Есенин, женившись на Толстой, постоянно угнетался культом седовласого мудреца, царящим в доме. Иван Бунин, порой заносчивый и ворчливый, брезгливо относился к романам Достоевского, хотя и ценил описания слякотного Петербурга, а по поводу творчества Толстого, коего горячо любил, скорбел: де, если бы он переписал “Анну Каренину”, то роман бы вышел живее, талантливее в художественном смысле. Бунина величают блестящим стилистом, хотя, на мой взгляд, его превосходили Гоголь, Лесков, Платонов, Шмелев, Шолохов, Куприн, дивно владевшие не токмо художественным образом, но и сословными разговорными стилями.

Мы ещё говорили с графом Толстым про то, как сложилась судьба детей, внуков и правнуков Льва Николаевича. Владимир Ильич поведал...

— Я родился в подмосковном селе Троицком, куда приехал из эмиграции мой дед, тоже Владимир Ильич. И работал он там в колхозе...

— ... в качестве агронома?

— ... в качестве колхозника...

— Да-а... потешно звучит: колхозник граф Толстой...

— Главным агрономом мой дед Владимир Ильич работал в Югославии, будучи эмигрантом. Там он возглавлял сельскохозяйственную общину. А уж вернувшись в Россию, так до конца жизни и отработал в колхозе... Но был знаменит тем, что заложил фруктовый сад; на нескольких гектарах земли цвели и плодоносили яблони, вишни, сливы. Прекрасный сад, который после смерти деда зачем-то вырубил. Это одно из самых мрачных впечатлений моего детства, когда яблони и груши корчевали. Дело случилось по весне, когда деревья пышно цвели. Пришли люди — воистину, чернь! — пригнали трактора с крючьями и деревья выдергивали с корнями, потом свозили в кучу. Это было тяжёлое душевное потрясение, и хотя прошло уже много лет, а душа и по сей день ноет. Землю распахали и посадили там кормовую брюкву, а потом и вовсе бросили поле, и оно заросло бурьяном. А сейчас там выросли многоэтажные коттеджи, где поселились нынешние толстосумы. Новое сословие, а как уж его величать, не ведаю... Такие коттеджи отгрохали, какие не снились даже членам Политбюро и дворянам, кроме великосветских и придворных.

### **“Не позазрите просторечию нашему...”**

Мужик, что уж греха таить, страдал от социального неравенства, чуял, что для бар-дворян он дерёвня тёмная, недоумок, рабочая скотина, чёрная кость. И крестьяне, в свою очередь, недолюбливали дворян, а заодно и интеллигенцию, поскольку они, по мужичьему разумению, задурили от праздности, погрязли, не каюсь, в грехах и пороках, сами свихнулись от книжного учения и безбожия и народ пошли булгачить. **“Сущность катастрофы духовна. Это есть кризис русской религиозности”**, — сказал Иван Ильин. И мнение крестьян о “просвещённом” обществе совпало с мнением святых отцов русской Православной Церкви. Вспомним суровые слова святого праведного Иоанна Кронштадтского, кстати, обличавшего ересь толстовскую: “Не стало у интеллигенции любви к Родине, и она готова продать её инородцам, как Иуда предал Христа злым книжникам и фарисеям, уже не говорю о том, что не стало у неё веры в Церковь, возродившей нас для Бога и небесного отечества; нравов христианских нет, всюду безнравственность (...). По причине безбожия и нечестия многих русских так называемых интеллигентов, сбившихся с пути, отпадших от веры и поносящих её всячески, поправших все заповеди Евангелия и допускающих в жизни своей всякий разврат, — русское царство есть не Господне царство, а широкое и раздольное царство сатаны, глубоко проникшее в умы и сердца русских ложно учёных и недоучек, и всех, широко живущих по влечению своих страстей и по ложным, превратным понятиям своего забастовавшего ума, презиращего Разум Божий и откровенное Слово Божие (...). Если в России так пойдут дела, и безбожники и анархисты-безумцы не будут подвержены праведной каре закона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стёртые правосудием Божиим с лица земли за своё безбожие и за свои беззакония (...). Держись же, Россия, твёрдо Веры своей и Церкви, если хочешь быть непоколебимой людьми неверия и безначалия и не хочешь лишиться царства православного. А если отпадёшь от своей веры, как уже отпали от неё многие интеллигенты, то не будешь уже Россией или Русью Святой, а сбродом всяких иноверцев, стремящихся истребить друг друга”.

Народное — суть крестьянское — искусство, коему двадцать столетий, кое, словно Вселенная, необозримо и сверхгениально, душевно и духовно вечно противостояло дворянскому искусству. Если в дворянском обезбоженном искусстве случались таланты и от демона, а нередко — мировозренческая смута, “безумная” мудрость земная, то устное народное искусство, выраженное в былинах, поэмах-плачах, мифах, преданиях, песнях, после Крещения

Руси освобождаясь от язычества и суеверий, — в любви и сострадании к брату, сестре во Христе нередко восходило к поучениям святых отцов. Впрочем, по слову родных народной поэзии и сами поучения иных русских боголюбцев и православных старцев, коль те, подобно апостолу Петру, вышли из простолюдыя и не горазды были в письменной грамоте, а посему и не писали, а рекли поучения народным, пословично-поговорочным слогом.

Есенин — по духу вечный крестьянин — поэзией и судьбой ярко выразил противостояние двух сословий. Хотя Есенин — натура предельно противоречивая, — изображая из себя аристократа, щеголяя в английских костюмах, в то же время по-мужичьи глухо презирал аристократов. Всеволод Рождественский пишет о том, как однажды крестьянские поэты Клюев и Есенин были приглашены в дом графини Клейнмихель, “представительницы одного из крайних монархических течений”: “В великолепном особняке на Сергиевской собралось общество, близкое к придворным кругам. За парадным ужином, под гул разговоров, звон посуды и лязг ножей, Есенин читал свои стихи и чувствовал себя в положении ярмарочного фигляра, которого едва достаивают высокомерным любопытством. Он сдерживал закипающую в нём злость и проклинал себя за то, что согласился сопутствовать Клюеву”.

А будучи санитаром в госпитале Царского Села, Есенин имел честь читать патристические стихи царице и царевнам, о чём опять же поминал с сословной неприязнью: “Я читаю, а они вздыхают: “Ах, это всё о народе, о великом нашем мученике-страдальце...” И платочек из сумочки вынимают. Такое меня зло взяло. Думаю: что вы в этом народе понимаете?”

Иногда мужичья спесь, сословная неприязнь Есенина к аристократии обретала утробную злобу: “Посмотрим — // Кто кого возьмёт! // И вот в стихах моих // Забила // В салонный, выхолощенный // Сброд // Мочой рязанская кобыла. // Не нравится? // Да, вы правы — // Привычка к Лориган // И к розам... // Но этот хлеб, // Что жрёте вы, — // Ведь мы его того-с... // Навозом...”

Разумеется, среди аристократов случались исключения, их исключительность лишь в том и заключалась, что они пытались если и не образом жизни, то хотя бы духом посылно приблизиться к народному — суть крестьянскому духу. Величие избранных дворянских писателей и выразилось в способности, преодолевая сословные уложения, сблизиться душой и словом с духом народообразующего сословия — с крестьянством.

Пушкин лишь потому и возвысился над блистательными поэтами “золотого века”, что стал русским народным, а значит, и великим русским поэтом. Достоевский писал: **“И никогда ещё ни один русский писатель, ни прежде, ни после его не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин (...). Пушкин любил народ не за одни только страдания его. За страдания сожалеют, а сожаление так часто идёт рядом с презрением. Пушкин любил всё, что любил этот народ, чтит. Он любил природу русскую до страсти, до умиления, любил деревню русскую. Это был не барин, милостивый и гуманный, жалеющий мужика за его горькую участь, это был человек, сам перевоплотившийся сердцем своим в простолюдина, в суть его, почти в образ его...”** О душевном, поэтическом слиянии дворянина Пушкина с крестьянским миром можно судить по героям “Повестей Белкина” и даже по образу Татьяны Лариной. А уж сказки Пушкина полноправно вошли в сокровищницу письменной и устной народной поэзии — сказки, услышанные от деревенских стариков и старух, и перво-наперво — от няни Арины Родионовны, потомственной крестьянки.

Пушкин стал предтечей народной литературы двадцатого века, прозванной “деревенской”, коя по отношению к дворянской ещё по достоинству не оценена, ибо “лицом к лицу лица не увидать — большое видится на расстоянии”. Русская литература — воистину, нет худа без добра! — лишь выиграла при народной власти, отменившей сословия. Иначе и не прошиблись бы в читающий мир литературные таланты из мужичья: Есенин, Шолохов, Шергин, Абрамов, Носов, Астафьев, Шукшин, Рубцов, Белов, Распутин, Личутин. Прекрасно о величии простонародья, которому советская власть, преодолев сословные препоны, открыла все парадные подъезды, сказал Василий Шукшин: “Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в чёрной рамке, так смотришь — выходец из деревни. Надо газеты читать!.. Што ни фигура, понимаешь, так выходец, рано пошёл работать”.



Оборони Бог крестьянство царское, а паче — колхозное живописать лишь розовым цветом, рисовать лубочную идиллию с пастушком Лелем. И крестьянский мир угнетали тяжкие немочи, присущие сословию: буйные, порочные страсти, особо во хмелю; смирение, порой переходящее в холопство; календарно-бытовое “обмирщение” святых, тёмные суеверия, порой и подменяющие, искажающие веру православную. Но о сём были написаны горы книг, обличающих крестьянскую темь и дичь.

Советская Империя, упразднив дворянство, пыталась изжить и сословное понятие *крестьянин*, заменив его *колхозником*. Нарождалось и доселе неведомое сословие — **служащие**: простонародье из крестьян и рабочих, вдохновенно и азартно обретая книжную грамотность, а потом и учёность, явилось во власть и, как в искусстве и науке, превзошло дворян талантливостью и трудолюбием. И сие сословие — **служащие**, — благо, созидалось оно не по “кровному родству” и “фамильному древу”, но по дарованию и жажде **служить** России, — напоминало опричнину царя Ивана Грозного.

Словно взорванный собор, со вселенским грохотом рухнула Россия, и сникли “чада солнца”, воцарились “дети тьмы” — лукавое “сословие” мошенников-“менеджеров”, мертвотушных, но похотливых и прожорливых, сожравших народное добро, словно саранча посева. Лукавое “сословие” испокон веку на Руси водилось: то буйно плодилось, то испуганно таилось, — скажем, в эпоху Иосифа Сталина. Но лишь в нынешнем веке “лукавое сословие” воцарилось на российском престоле, вторглось — враги же! — в народные души, внушая похоти вместо любви к Вышнему и ближнему. “По причине умножения беззакония во многих охладает любовь...” (Мф. 24-12). Студеные сумерки пали на Землю Русскую... Но... сколь свиреп натиск врага рода человеческого, столь и яростна оборона: русские огоньки, мерцающие в сумерках, сияли всё ярче и ярче, словно в небе зажглись Христовы свечи, освещающая извилистую, узкую тропу к спасению.